— Отче, отче! Мантию и клобук возьми!

Но монах только рукой махнул.

— А, горите вы со всем!.. Не до мантии.

Вернулся монах за своей мантией лишь через месяц, да и то в избу побоялся войти. Потом он Аввакуму при встречах еще издали кланялся. Даже воеводы благодарили Аввакума за то, что унял буяна.

29

А тем временем у оставшихся за архиепископа Струны с Чертковым разгорелась вражда, «великий несовет». Струна был делец, рвач, «правых винил, а виноватых оправдывал для своей бездельной корысти». Аввакум жил с ним довольно мирно, но за месяц до приезда архиепископа начались великие беды.

Как-то привязался Струна к дьячку Аввакумовой церкви Антону. И уже в Судном приказе хотел подвергнуть его пытке. Но Антон утек, прибежал в церковь к Аввакуму. Струна собрал людей и бросился в погоню. Побаиваясь сурового протопопа, он не решился ввести своих людей в церковь и вошел один. И это было его роковой ошибкой.

Аввакум пел вечерню, когда Струна заскочил в церковь и на «крылосе» ухватил за бороду Антона. Аввакум прекратил службу, бросился к двери и запер ее. Отрезанный от своих, Струна оказался в западне и вертелся по церкви «как бес». Аввакум с Антоном изловили дьяка, разложили на полу и стегали до тех пор, пока он не попросил прощения.

Но стоило Струне выйти за порог, как он и его родственники подняли на ноги весь город. В полночь толпа, предводительствуемая попами и монахами, пришла к избе Аввакума, намереваясь «посадить в воду», утопить протопопа. То ли двери оказались крепкими, то ли воевода князь Василий Иванович Хилков пособил, но жив остался Аввакум. Только с той ночи не стало ему житья, за ворота носа

не кажи, куда надо — крадучись пробирайся. Сопровождал его и охранял сын боярский Матвей Ломков по приказу, видимо, воеводы. Совсем одинок стал Аввакум, народ и прежде к нему в церковь почти не ходил, а теперь того и гляди растерзают. Как-то Аввакум еле успел скрыться от толпы в воеводском доме, в тюрьму просился — все под караулом будет. А добрый князь Василий Иванович мятежников боится и только плачет, глядя на Аввакума. Княгиня его, добрая душа, открыла сундук и говорит:

— Полезай, батюшко, я над тобой сяду, как придут тебя искать к нам.

Выручил протопопа вернувшийся из Москвы архиепископ Симеон. Бросилась владыке в ноги одна девка, жаловалась на своего отца и на Струну. Она и ее мать «подали челобитную Струне — жена на мужа, а дочь на отца, что тот мужик дочь свою насильствовал. И он, вор, сделал по неправде». Мужик дал Струне полтину, и дьяк мужика оправдал, а жену и дочь велел бить без пощады. Архиерей приказал привести мужика, который на очной ставке во всем сознался.

Пришла очередь отдуваться жадному дьяку. Посадили его в хлебню на цепь. Архиепископ велел «сыскать в правду приказному Григорию Черткову и протопопу с соборяны». Но Струна не стал ждать разбирательства. Просидев сутки, он с цепью ушел в город к воеводам и крикнул «слово и дело государево» на Аввакума.

Как бы воевода Хилков ни относился к протопопу, он обязан был дать делу ход. Даже хозяин терял власть над холопом, если тот выступал доносчиком. Со Струны сняли цепь и приставили к нему сына боярского Петра Бекетова.

Того самого Бекетова, землепроходца и казачьего голову, о котором слыхал Аввакум по пути в Тобольск. Старый вояка недавно вернулся из похода и собирался совсем на покой, благо у него в Тобольске был свой дом и хозяйство крепкое. Ходил он по приказу енисейского воеводы Пашкова в Даурию на разведку, поставил на реке Шилке у

Нерчи острожок, хлеб посеял, да тунгусы восстали, все порушили, пожгли, лошадей угнали. Пришлось уходить на Амур, а уж оттуда возвращаться на запад.

Не один из нынешних забайкальских городов чтит имя своего основателя Петра Бекетова. Его же казаки срубили несколько домков у слияния рек Ингоды и Читы, «Ингодинское зимовье», положив начало городу Чите.

Не довелось отдохнуть Бекетову на старости лет...

Архиепископ Симеон был зол на Струну — в архиерейском Софийском доме «воровства и краж объявилося много». Посоветовавшись с Аввакумом, архиерей 4 марта 1655 года в соборе торжественно предал Струну анафеме «за вину кровосмешения».

Такая строгая кара вызвала возмущение. За «слово и дело», мол, мстят церковники. Петр Бекетов прямо в церкви стал бранить архиерея и протопопа. Накричал, разволновался и поспешил домой, чтобы сообщить Струне об анафеме.

И по пути вдруг упал и умер.

Симеон с Аввакумом в своем неистовстве уже не могли остановиться. Тело умершего без церковного покаяния Петра Бекетова они приказали среди улицы собакам бросить. Три дня молились, чтобы «в день века отпустилось ему», а потом разрешили погрести останки.

Долго потом грызла совесть Аввакума за этот трагический случай. «Еще же и душе моей горе тут есть... Полно тово плачевнова дела говорить».

Струну передали другому приставу, и сыск «по слову и делу» продолжался. В чем же обвинил дьяк Аввакума, метя заодно и в покровительствовавшего протопопу владыку?

Четырежды спасали архиерей и воевода от изветов Аввакума, а на пятый раз не смогли. Слишком часто выступал протопоп на людях против Никона. Слишком часто называл патриарха еретиком и обвинял в церковном расколе. Кричал, подобно Неронову, что три пагубы за это будет Руси: мор, меч и разделение.

От Симеона и из грамоток, что присылали москвичи, знал он все последние события.

Еще Аввакум был в Москве, когда царь Алексей Михайлович, готовясь к войне с поляками за исконные русские земли, сделал смотр войску. А осенью объявил в Успенском соборе: «Мы, великий государь... посоветовавшись с отцом своим, с *великим государем,* святейшим Никоном, патриархом... приговорили и изволили идти на недруга своего, польского короля...»

На следующий год царь, благословленный патриархом, ушел в великий поход, оставив дела московские на Никона. Поход был успешный — взяты Смоленск и десятки других городов, но из Москвы пришли тревожные вести. Начала там свирепствовать моровая язва. Мор косил людей тысячами, и у самого Аввакума в Москве скончались два брата, перемерли их жены и дети. Многих родственников и друзей потерял Аввакум.

Вот оно, наказание за Никоново самоуправство. Первое сбылось. Сам Никон с царским семейством выехал из столицы. Христиан на Москве все меньше остается. Пришел народ к Успенскому собору, принесли икону — «Спас нерукотворенный, лице и образ соскребены». А скребли образ по патриархову указу.

В народе ропот:

— На всех теперь гнев божий за такое поругание...

— Во всем виноват патриарх, держит он ведомого еретика старца Арсения, дал ему волю, велел ему быть у справки печатных книг, и тот чернец много книг перепортил.

— Патриарху пристойно было быть в Москве и молиться за православных христиан, а он Москву покинул, и попы, смотря на него, многие от приходских церквей разбежались...

Архиепископ Симеон про собор рассказывал. Никон открыл собор речью, сослался на деяния константинопольского собора об учреждении в России патриаршества, где заповедывалось пастырям истреблять все новины цер-

ковные. Задним числом он потребовал от архиереев утвердить свою реформу, почитая ее возвратом на старое. Зачитывали книги, правленные Арсением Греком. Симеон Тобольский, Макарий Новгородский и другие были против правки. Но они помнили судьбу ревнителей благочестия и... промолчали.

Один епископ коломенский Павел возвысил голос против, так его сослали сперва на Онежское озеро, а потом на Хутынский хутор около Новгорода, куда явились слуги Никона «и убиша его до смерти, и тако его сожгоша огнем по Никонову велению».

А в то самое время, когда разгорелось дело с дьяком Струной, в Москве открылся новый собор. Приехали за милостыней антиохийский патриарх Макарий и сербский Гавриил. Попросил их Никон во время торжественного богослужения подтвердить, что на Востоке крестятся тремя перстами. Те рады угодить Никону. В храме тогда были сам царь, бояре, народу тьма. Никон стал говорить поучение против новых икон «франкского письма», то есть писанных по образцам западных картин. И в этом он полностью смыкался с гонимыми им ревнителями. Народ уже возмущался во время мора тем, что отбирали и соскребали эти иконы. Но Никон настоял на своем и заставил восточных патриархов предать анафеме и отлучить от церкви тех, кто станет писать такие образа и держать их у себя в доме.

Никон поднимал иконы одну за другой и говорил: «Эта икона из дома вельможи такого-то, сына такого-то» — и бросал с силой о железные плиты пола. Разбитые иконы он приказал сжечь. Тут не вытерпел царь, подошел и тихим голосом попросил патриарха: «Нет, отче, не сожигай их, но пусть их зароют в землю».

Поведение Никона с трудом поддается объяснению. Кажется, что он движим одной гордыней, что главная его цель — лишь утвердить свою власть. Честолюбие его часто сбивается на тщеславие.

Тогда на соборе он сказал; «Я русский и сын русского, но моя вера и убеждения греческие». Приверженность Никона к греческому доходила до смешного. Он завел на кухне греческую еду, а знаменитый «Белый Клобук» патриарх заменил греческим головным убором и радовался ему, как ребенок, потому что он оказался к лицу...

Но Никон еще в расцвете сил и на вершине власти. И власть свою он обосновывает средневековой теорией о двух мечах: «При архиерействе меч духовный, при царе же — меч мирской...» И, разумеется, власть духовную Никон считает выше мирской. Он сравнивал власть патриарха с солнцем, а власть царя с луной... Он мог быть знаком с католической точкой зрения на папскую власть, когда писал, что поскольку цари получают помазание от архиереев, то по своему достоинству они ниже епископов.

Молодой царь величал его «государем», оставил за себя управлять государством, когда ушел на войну. И в грамотах Никон стал ставить свое имя на первое место: «От великого государя, светлейшего Никона патриарха... всея Великие и Малые и Белые России...», чем невероятно раздражал бояр. Но пока они помалкивали. Священники же за малейшую провинность наказывались ссылкой, побоями, кандалами... «Великим тираном» звали Никона.

В 1655 году царь Алексей Михайлович, вернувшись из похода в Москву, вышел из саней и долго шел пешком, чтобы встретить патриарха. Власть Никона была так велика, что он мог отнимать имения у дворян и раздавать своим любимцам.

И вот такого человека вздумал хулить Аввакум. Но опять повод для расправы с непокорным протопопом был формальный. В извете Струны говорилось, что «Аввакум ходит с посохом, а посох с яблоки вызолочен, а на рогах оправлено серебром...».

Эти-то вызолоченные яблоки и стали причиной дальнейших бед Аввакума. Дело в том, что духовенство всех рангов имело свои знаки отличия. Знаком протопопского

сана был «двоерогий посох», в форме буквы «Т». А посох с яблоками (шар — символ державы, власти) уже приличествовал «владыке», архиерею. К тому же преступление было многократным и всенародным — «ходит с посохом». В Москве ухватились за это.

И повелено было сделать у Аввакума повальный обыск. Воеводы послали к Аввакуму на двор подьячего Лосева, и тот обнаружил не один посох, а целых два. «Один точеной с яблоками, золочеными листовым золотом, а другой — с яблоками же, крашенными красками и золоченными листовым же золотом по местам». Посохи были епископские.

Воеводы отправили отписку (донесение), сыск (следственный материал) и два посоха (вещественные доказательства) в Сибирский приказ, откуда все это попало к Никону.

Откуда оказались у Аввакума посохи? Как и Никону, ревнителям было не чуждо своеобразное щегольство. Стефан Вонифатьев был таким франтом, что об этом есть упоминание даже в летописном сборнике. У него были архиерейские шапки и посох — дары царя и патриарха. Не отставал от старших и Аввакум. «Царевна Ирина Михайловна, — пишет Аввакум, — ризы с Москвы и всю службу в Тобольск прислала». Среди подаренной протопопу «службы» могли быть и посохи.

По патриаршему указу Аввакума с женой и детьми велено было послать на Лену, в Якутский острог, к стольнику и воеводе Михаилу Лодыженскому. Служить ему впредь воспрещалось, то есть его перестали считать попом.

Аввакум прекрасно знал, что едет он в ссылку не за посохи, а «за сие, что бранит от писания и укоряет ересь Никонову». О посохах он не упоминает нигде, не хотелось ему признаваться в тщеславии...

29 июня 1655 года, погрузив вещи и усадив семью в дощенник — плоскодонное судно с палубой, он стал прощаться с провожающими. Пришел некий Федор, которого

Аввакум с месяц «смирял» у себя дома, исцелял от безумия доступными средствами. Однажды он крепко побил Федора и велел пономарю приковать его к стене. Но Федор вышатал пробой, ушел на двор к воеводе, разогнал всю его семью и, взломав сундук, надел на себя княгинино платье. Посаженный в тюрьму, он избил там узников и разломал печь. Теперь безумие покинуло его, и он пришел прощаться с Аввакумом. Возиться с «бешаными» протопоп любил, видя в их исцелении собственную победу над «нечистой силой». Пришла провожать калмычка Анна, духовная дочь Аввакума, из которой он хотел сделать подвижницу, но она все-таки рвалась к любимому и после отъезда Аввакума пошла за своего Елизара замуж и «деток прижила».

Сопровождали Аввакума красноярский дворянин Милослав Кольцов и пять человек казачьей стражи. Шли сперва вниз по течению Иртыша до Самарова, ныне Ханты-Мансийска, где благополучно соседствовали рядом деревянная церковь святителя Николы и «нагая баба», главный идол остяков. Потом двинулись вверх по Оби — где на веслах, а где и бечевой. Проехали важный пост Сургут — самые нефтяные ныне места. За Нарымом свернули в Кеть и поднялись до Маковского острога. Там ждали снега, чтобы на санях перебраться к Енисейску. А уж от Енисейска водный путь был через Байкал до самого Тихого океана.

Вот уже показались вдали две церкви енисейские, потом острог, избы. На берегу широкого Енисея сотни дощенников и казаки, казаки, конные и пешие...

В тот день свела судьба Аввакума с воеводой Афанасием Филипповичем Пашковым. Недобрая судьба.

30

Что Пашков человек был незаурядный, в том нет сомненья. Военная косточка, он привык повиноваться, но и от подчиненных не терпел никакого прекословия. Смелый

и волевой, он представляется крепким, матерым, способным своим зычным голосом перекричать целую ватагу, а в случае неповиновения или бунта уложить на месте зачинщиков своей саблей.

XVII веку волевых людей не занимать. Но в деятельности того же Никона, Неронова, Аввакума преобладало духовное начало.

Пашков — человек действия в чистом виде. Именно такие могли смирять казачью вольницу и добывать с нею славу и земли русскому царю. Убийство — его профессия, привычное средство достижения цели. В жестокости его нет садизма; есть одно лишь равнодушие к чужой жизни, убеждение, что нет иных законов, кроме волчьих.

Еще в 1650 году якутский воевода Дмитрий Францбеков доносил, что «Даурская земля Лены прибыльнее, и против всей Сибири будет... место всем украшено и изобильно».

В 1652 году Пашкову было приказано подготовить двести дощенников для большой экспедиции князя Лобанова-Ростовского в Даурскую землю. Не менее трех тысяч людей и много грузов могла поднять эта речная флотилия.

Энергичный воевода впряг в работу весь Енисейск, изыскал средства, лес, работников и сделал даже сверх того, что было приказано. Он разведал пути в Китай, куда проследовало русское посольство Федора Байкова, потерпевшее неудачу. Пекин лишь недавно захватили маньчжуры и положили начало Циньской династии, правившей Китаем до 1912 года. Еще не весь Китай покорился маньчжурам, но они уже совершали набеги на Приамурье, угоняли в неволю тамошних жителей.

Пашков послал на разведку в Даурию отряд Петра Бекетова. Тому пришлось несладко, но он поставил первые укрепления, а главное, привез «чертежи» рек Хилка, Ингоды, Шилки, разведал более короткий путь в Даурию. Пашков писал в Москву, что для упрочения русского вла-

дычества на Амуре, где геройствовал Ерофей Хабаров, необходимо утвердиться на берегах Шилки.

В 1653 году Хабаров уехал в Москву, а «приказным человеком великой реки Амура новой Даурской земли» оставлен был Онуфрий Степанов, успешно сражавшийся с многотысячным войском богдыхана.

Однако из-за военных действий на западе России большая экспедиция в Даурию не состоялась. Незадолго до приезда Аввакума в Енисейск туда же прибыл новый енисейский воевода Иван Акинфов, который привез Пашкову царский указ самому ехать воеводой в Даурскую землю и привести под государеву руку тамошних князей, собирать ясак, проведывать про серебряную руду, медь и олово, а также — есть ли по тамошним рекам пашенные места? Уже не в разведывательный набег приказывали идти Афанасию Пашкову с его сыном Еремеем, а создать новую Приамурскую область, которая бы управлялась царскими чиновниками и подчинялась непосредственно Сибирскому приказу в Москве.

Вчера Пашков был всего лишь городовым воеводой, а сегодня стал самовластным правителем громадной территории, равной едва ли не половине Европы. Честь была великая, но и труды предстояли великие, чтобы на деле осуществились честолюбивые планы Пашкова, подкрепленные московским указом.

По указу ему надо было набрать триста человек казаков, что он и сделал. В Тобольске прибрано шестьдесят человек, в Тюмени — пятьдесят, остальные — в Таре, Верхотурье, Березове, Сургуте, Пельше, Туринске, Красноярске... К тремстам Пашков присоединил в Енисейске человек сто двадцать — на его заставах задерживали людей, бежавших на вольный Амур от кары за участие в якутском и других бунтах. Аввакум считает в отряде шестьсот человек. Видно, Пашков прибирал людей еще и по пути.

Когда эта вольница стала прибывать в Енисейск, город стоном застонал от ее буйства. У Пашкова с Иваном Акин-

фовым начались нелады, посыпались взаимные обвинения и доносы. «Великий озорник», как называл Пашкова архиепископ Симеон, понуждал стариц енисейского девичьего Рождественского монастыря подписывать донос на нового воеводу не читая. А когда старица Прасковья потребовала прочесть бумагу, он велел взять ее из монастыря, «бил ее по щекам своими руками и пытал ее у себя на дворе». Тогда же он «зазвал попа Якова на судно и бил его на смерть своими руками, и он, поп Яков, от его Афонасьевых побой лежал недель с шесть при смерти — едва ожил».

Аввакум с ужасом наблюдал за хозяйничаньем Пашкова в Енисейске. И не только наблюдал. По природе своей Аввакум не мог стоять в стороне — он пытался воздействовать на воеводу словом («много уговаривал»). Так начался неравный поединок ссыльного протопопа с могучим воеводой; он продолжался много лет, и ни одна сторона не хотела уступить другой... Сперва Пашков, занятый своими делами, с презреньем отмахнулся от Аввакума, умствования которого казались ему полнейшей бессмыслицей.

Надо же было случиться такому — Аввакум «и сам в руки попал» мучителю людей. В будущей главной резиденции Пашкова велено было устроить церковь с двумя приделами «во имя Алексея митрополита да Алексея человека божия» (Алексеями звали и царя с наследником) и еще две церкви. Пришел указ ехать протопопу Аввакуму не на Лену, а с Пашковым. В полку воеводы до этого был всего один черный поп. В грамоте Никон приказал «смирять» Аввакума, что и Пашков и протопоп расценили как «мучить». Положение Аввакума было двусмысленным: с одной стороны, он вроде бы становился полковым попом, а с другой — не снятое запрещение служить лишало его всякого авторитета в глазах Пашкова.

К 18 июля 1656 года на сорок дощенников погрузили пятьдесят пудов пороху, сто пудов свинца, сто ведер вина,

восемьдесят четвертей ржаной муки енисейской пахоты, десять четвертей крупы и столько же толокна, топоры и другие припасы. После молебна буйное войско Пашкова расселось по судам и тронулось в путь — сперва по Енисею, а потом вверх, против стремительного течения Ангары.

Как-то поднялась буря. На дощеннике Аввакума сорвало ветром парус, вода залила трюм, палуба едва выглядывала из воды. Настасья Марковна кое-как повытаскала ребят на палубу, то и дело окатываемую разбушевавшейся водой. Вскоре судно прибило к берегу. Семейству Аввакума повезло — на другом дощеннике с палубы сорвало двух человек, и они погибли в речной пучине.

Оправившись от последствий стихийного бедствия, караван дощенников тронулся в путь. Возле Шаманского порога повстречалась партия казаков, с которыми ехали две пожилые вдовы, собиравшиеся постричься в монастырь. Пашков задержал казаков, а заодно и вдов, которых он тут же решил выдать замуж за кого-нибудь из своих казаков. В царском наказе воеводе предписывалось крестить туземных «жонок и девок» и выдавать их замуж, дабы покрепче привязывать русачков к новым местам. Пашков решил, что он вправе распоряжаться судьбой пятидесятилетних русских женщин. Аввакум же счел своим долгом вступиться за них.

— По правилам не подобает таковых замуж давать, — сказал протопоп. Самодурство Пашкова уже вызывало ропот его людей, и к тому же Аввакум был прав. Воевода, очевидно, плюнул и не стал связываться с Аввакумом, но с этого времени отношения их были безнадежно испорчены. Очень скоро воеводе представился случай проучить строптивца. У Долгого порога, где Ангара со страшным шумом прорывалась сквозь скалы, Пашков стал «выбивать» Аввакума из дощенника.

— Ты, еретик! — сказал он презрительно ссыльному протопопу. — Из-за тебя дощенник худо идет. Поди по горам, казаки без тебя управятся...

Теперь формально прав был воевода. Он торопился поспеть до зимы в Братский острог и старался облегчить суда. Но настолько ли был тяжел Аввакум и настолько ли беспомощен, что ему не нашлось бы места и дела на судне? Зная нрав воеводы, который обходил суда в сопровождении палачей и не давал спуска никому, Аввакум полез на скалы. По прямой Долгий порог протянулся за семь верст, в обход же по горам, сквозь густые заросли Аввакуму пришлось пробираться действительно долго.

«О, горе стало! — вспоминал он. — Горы высокие, дебри непроходимые, утес каменный яко стена стоит...»

Измученный, истерзанный Аввакум выбирается из колючих зарослей, всходит на свой дощенник, уже давно миновавший порог, и пишет письмо...

Но какое письмо пишет Аввакум? Перед нами две версии — аввакумовская и пашковская. Обе они красочны; и в той и другой есть недоговоренность, но, дополняя одна другую, они проясняют ход событий, которые в конце концов становятся известными даже самому царю Алексею Михайловичу.

По версии Аввакума, письмо было написано Пашкову, ушедшему уже версты на три вверх по реке.

Зверь зверем был для Аввакума Пашков, и в письме, из которого мы знаем только начало, довольно прозрачно намекалось на сходство воеводы с дьяволом, не трепетавшим перед Богом и даже презиравшим его. И уж, наверное, не преминул Аввакум в крепких выражениях осудить человека, который «беспрестанно людей жжет, мучит и бьет».

И этих обвинений было так «многонько», что терпенье Пашкова лопнуло. Гнев воеводы был ужасен. Казаков, которых Пашков послал за дощенником Аввакума, била дрожь, когда они передавали провинившемуся, что с ним собирается сделать воевода. Они почти бегом тащили на лямках судно к месту стоянки Пашкова. Во время передышки Аввакум сварил казакам каши, они ели ее и смот-

рели с жалостью на человека, которого везли, как казалось им, на верную смерть.

Нашлись бы среди них и такие, что бежали бы ватагой на Амур добывать себе лучшую долю, а то бы при случае, не задумываясь, порешили воеводу. Обличения красноречивого Аввакума западали им в душу. И хотя Аввакум не считал себя бунтовщиком, он разжигал недовольство и тем мешал успеху пашковского предприятия.

Недаром потом Аввакум скажет: «Десять лет он меня мучил, или я ево — не знаю; бог разберет в день века».

Пашков уже ждал на берегу с обнаженной шпагой в руке. Рядом стоял его сын Еремей, «товарищ» — заместитель воеводы и «друг тайной» ссыльного протопопа. Палачи выхватили Аввакума из дощенника и подвели к воеводе. Дрожа от гнева на дерзкого ссыльного, у которого даже и звание непонятно какое, Пашков заорал:

— Ты кто таков: поп или распоп?

— Я Аввакум протопоп, — гордо заявил Аввакум, обиженный тем, что воевода видел в нем лишь попа-расстригу. — Говори, какое у тебя дело до меня?

Как зверь взревел Пашков. Он хлестнул Аввакума по щеке, по другой, потом, сбив с ног, схватил свой воеводский железный чекан и трижды ударил лежачего по спине. Но самое худшее было впереди.

Палачи уже приготовили козла. Содрав с Аввакума рубаху, они прикрутили его к доске. Приготовили два кнута с «хвостами» сыромятной кожи, твердой, с острыми, как ножи, краями, срезавшими кожу со спины.

Воевода подошел к Аввакуму.

— Когда полно будет, скажешь: «Пощади».

Аввакум молчал. «Хвосты», со свистом разрезая воздух, рвали его кожу в клочья. А он молчал. Трижды меняли на кнутах сыромятные «хвосты», размягчавшиеся от крови. Пашков, обозленный упрямством Аввакума, не хотевшего просить пощады, кричал:

— Бей! Еще бей!

Первым не выдержал Еремей Пашков. Он стал просить отца пощадить Аввакума. Богобоязненный, всегда покорный отцовской воле, на этот раз он был так потрясен жестокостью наказания, что стал пререкаться с Афанасием Пашковым. Грозный воевода поднял шпагу и бросился на сына. И если бы не отскочил, не побежал Еремей, быть беде...

Чтобы забить насмерть человека, хватало шестидесяти ударов. Аввакум выдержал семьдесят два. И наконец вскричал:

— Полно бить тово!

Когда протопопа сняли с козла, он не только не упал, но и нашел в себе силы сказать воеводе с укоризной:

— За что ты меня бьешь? Ведаешь ли?

И за это получил еще несколько ударов «по бокам».

Когда Аввакума отпустили, он все еще стоял. Потом тело его свело судорогой, и он рухнул на землю. Пашков велел сковать ему руки и ноги и отнести на «казенный» дощенник, где находилась государева пороховая и свинцовая казна.

Лежа ночью на палубе под холодным осенним дождем, Аввакум испытывал невыносимые муки. Болели скованные ноги и руки, болела спина — живое мясо, болел позвоночник, сильно ушибленный воеводским чеканом. Во время истязания он, ожесточась, не так чувствовал боль. Под ударами он молился, а теперь на ум взбрело другое: «За что ты, Сын Божий, позволил так мучить меня? Я ведь за вдов вступился! Прав ли ты — кто нас с тобой рассудит? Когда я воровал, грешил, ты меня так не оскорблял! А ныне я греха за собой не знаю!»

За что?

Подражание крестным мукам Христа тут явное. И мыслям тоже.

Он боялся этих мыслей, гнал их, но они возвращались вновь и вновь. Бог оставил его... Это была самая страшная ночь в жизни Аввакума. Боль физическая, помноженная на

боль душевную... «Стало у меня в те поры кости те щемить и жилы те тянуть, и сердце зашлось, да и умирать стал».

Кто-то, добрая душа, плеснул в рот Аввакуму воды, и он кое-как оклемался. Каким невероятно могучим здоровьем и какой силой духа надо было обладать, чтобы выдержать все испытания, выпавшие на его долю! Дни и ночи лежал он на палубе под снегом и дождем.

Когда дощенники подошли к Падуну, самому грозному порогу (где теперь построена Братская ГЭС), Аввакума вытащили из лодки и поволокли за цепь по камням. Боялся он повторения страшной ночи. И придумал простой довод, казавшийся ему утешительным. «Кого любит Бог, того и наказывает... А кто без наказания приобщается к нему, те выблядки, а не сыны Божии». В этой грубоватой казуистике отсутствовала логика. Но логика не могла заменить веру и не прибавляла силы...

На Падуне все дощенники прошли благополучно меж каменных гряд; лишь дощенник Пашкова, оснащенный лучше всех, не мог пройти, «взяла силу вода». Течение подхватило его, стащило в воду людей, державших канаты, и поволокло судно на камни. Вода захлестывала застрявший дощенник, в котором оставалась Фекла Симеоновна, жена воеводы. Отец и сын Пашковы метались по берегу, загоняя в воду казаков.

Кормщик Пашкова потом рассказывал Аввакуму, что Еремей упрекнул отца:

— Батюшко, за грех наказует бог! Напрасно ты протопопа кнутом избил. Пора покаяться, государь!

И на этот раз укор сына привел воеводу в гнев. Описывая сцену, которой не видел, Аввакум дает волю воображению. Недаром ему находят место рядом с Сервантесом, а его «Житие» называют «явлением, приближающимся к роману». Как и полагается романисту, художник в нем берет верх над хроникером.

«Он же (Пашков. — *Д. Ж.*) рыкнул на него как зверь, и Еремей, к сосне отклонясь, прижав руки, стал, а сам,

стоя, «господи, помилуй!» — говорит. Пашков же, ухватя у малого (казака-телохранителя. — *Д. Ж.)* колешчатую пищаль, — никогда не лжет[1], — приложася на сына, курок спустил, и божиею волею осеклася пищаль. Он же, поправя порох, опять спустил, и опять-таки осеклась пищаль. Он же и в третий раз так же сотворил; пищаль и в третий раз осеклась. Он ее на землю и бросил. Малой, подняв, на сторону спустил; так и выстрелила! А дощенник все так же на камне под водою лежит. Сел Пашков на стул, шпагою подперся, задумался и плакать стал, а сам говорит: «Согрешил окаянной, пролил кровь неповинну, напрасно протопопа бил; за то меня наказует Бог!»

Впоследствии, когда писалось «Житие» иногда Аввакум свыкся с ролью вождя «истинной церкви», он старался объяснить исход всякого события — благополучный и неблагополучный — вмешательством высших сил и даже приписывал себе способность творить чудеса. Вот и теперь стоило воеводе произнести покаянное слово, как «дощенник сам... сплыл с камней и стал носом против воды; потянули, он и взбежал на тихое место тотчас».

Тогда Пашков будто бы подозвал сына и стал просить его:

— Прости, Еремей, правду ты говоришь!

А Еремей поклонился отцу и сказал:

— Бог тебя, государя, простит! Я пред тобою и пред Богом виноват!

«И взяв отца под руку, и повел. Гораздо Еремей разумен и добр человек: уж у него и своя седа борода, а гораздо почитает отца и боится его».

Живописуя своих врагов, Аввакум никогда не пользуется одной черной краской, он ищет в них человечность, он готов простить даже Никона, «волка в овечьей шкуре», лишь бы он покаялся.

---

[1] Пищаль с колесным замком, кремневая, реже давала осечку («лгала»), чем фитильная.

Первого октября все сорок дощенников приплыли к Братскому острогу[1]. «В тюрьму кинули, соломки дали, — вспоминает Аввакум. — И сидел до Филиппова поста в студеной башне; там зима в те поры живет, да бог грел и без платья! Что собачка, в соломке лежу: коли накормят, коли нет. Мышей много было, я их скуфьею бил, — и батожка не дадут, дурачки! Все на брюхе лежал: спина гнила... Есть после побоев хочется, да ведь в неволе: как пожалуют, дадут. Да бесчинники ругались надо мною: иногда одново хлебца дадут, а иногда ветчинки одной невареной, иногда масла коровья без хлеба же... Караульщики по пяти человек одаль стоят. Щелка в стене была, — собачка ко мне по вся дни приходила поглядеть на меня; как Лазаря во гною у врат богатого псы облизывали, отраду ему чинили, так и я со своею собачкою поговаривал, а люди далеко меня обходили и поглядеть на тюрьму не смели».

В одном из списков «Жития» упоминается, что на Аввакуме был лишь кровавый кафтанишко. Шубу ему дали не скоро. «Гной по всему, и вши, и мыши, и стужа, и есть хочется. В щелку гляжу, а у Пашкова того прягут да жарят и носят на блюдах и пьют и веселятся. А ко мне никто не заглянет, ничего не дадут — дураки! Я бы хотя блюдо то полизал или помоев тех испил, — льют на землю, а мне не дадут. Всяко бродит на уме...»

Им овладевали приступы отчаяния, мысли о несправедливости бога и людей, не раз он уже собирался просить прощения у Пашкова, но так и не попросил...

---

[1] Братский (бурятский) острог основан в 1631 году на месте, разведанном все тем же Петром Бекетовым. В 1655 году по приказанию Пашкова ближе к устью Оки было возведено новое укрепление, квадратное, с четырьмя угловыми семиметровыми башнями, сложенными из громадных лиственничных бревен. В одну из этих башен и был брошен Аввакум. Возможно, именно ее в 1959 году перевезли в Москву и сложили в Коломенском, когда готовилось наполнение Братского моря.

Через месяц Пашков перевел Аввакума в теплую избу, где он в оковах просидел остаток зимы вместе с аманатами — заложниками из местных племен.

Семью его Пашков поселил верстах в двадцати от Братска, в лесу. Они там едва не померли от голода, цинги, стужи, от тоски-кручины, от безысходности своего положения. Все съестные припасы, которые Аввакум взял с собой из Енисейска, Пашков приказал отнять вместе с частью носильных вещей. Некая «баба Ксенья» всю зиму мучила Настасью Марковну, «лаяла да укоряла».

После Рождества, в самый мороз, пришел навестить Аввакума старший сын Иван, но Пашков не дал им увидеться: велел запереть мальчонку на ночь в той самой студеной башне, где прежде сидел Аввакум. Наутро, едва не замерзшего, его прогнали к матери.

31

В общем Пашков поступил с Аввакумом по тогдашнему дворянскому присловью: бей попа что собаку, лишь бы жив был. Его версия о наказании «распопа Аввакумки» кнутом была изложена в отписке воеводы на имя царя Алексея Михайловича. Пашков боялся, как бы Аввакум не умер после жестокого наказания. За смерть такого известного человека ему рано или поздно пришлось бы отвечать. И он поторопился заручиться «свидетелями» мятежного поведения протопопа, его «многих неистовых речей». Была составлена челобитная, которую заставили подписать четыреста двадцать казаков. Собственная отписка воеводы повторяла обвинения челобитной слово в слово, но была более пространной. Очевидно, что оба документа сочинил один и тот же человек — даурский воевода Пашков.

В отписке Пашкова уже известные события выглядят совсем по-другому. Он, Пашков, старается исполнить государев указ, ведет людей в Даурскую землю. И вот на Долгом пороге, на Тунгуске-реке, в 1656 году, сентября в 15 день

приносят ему письмо. А письмо то предназначено совсем не для воеводы — оно глухое, безымянное. И в том подметном письме речи воровские, непристойные, будто «везде в начальных людях, во всех чинах нет никакой правды».

Воевода, верный холоп государев, тотчас устроил сыск и нашел вора, который писал своею рукою непристойную память. Им оказался не кто иной, как бывший протопоп Аввакум. Хотел он смуту учинить в его, пашковском, полку, людей подговаривал, чтоб они государю изменили, отказались выполнять государев указ. Не пишет Пашков, что Аввакум хотел сам атаманом стать, но намекает на это. В Илимском остроге такой же вор, как распоп Аввакум, казак Мишка Сорокин прибрал к себе воров триста тридцать человек и с ними Верхоленский острог и многих торговых людей пограбил. Енисейские служилые люди, Филька Полетаев с товарищами ограбили казну государеву и своего начальника да побежали в Даурскую землю сами по себе.

И Пашков велит учинить вору-распопу наказание — бить кнутом на козле, чтобы впредь такие воры нигде в государевых ратях воровскими письмами смуты не чинили.

И все бы ничего, да только когда начали Аввакума кнутами потчевать, как закричит он;

— Братцы казаки, не выдавайте!

Он, распоп, с казаками, видно, прежде стакнулся, неистовые речи им говорил, а теперь решил поссорить их с воеводой, взбунтовать. Да за такие дела ему, вору, полагается смертная казнь. Но не смеет учинить того воевода без государева указу.

Что же здесь правда? Вероятнее всего, неистовые речи Аввакум говорил, в письме воеводу обличал, но письмо это не было безымянным, и к бунту протопоп никогда бы призывать не стал. Это было бы против его убеждений.

Отписку воеводы повез даурский казак Микитка Максимов, да, видно, не одна она попала в Тобольск, потому что архиепископ Симеон уже в 1658 году писал царю о «великом озорнике» Пашкове, о том, как тот бил чеканом